

Октябрь 2004 г.

Для предполагавшегося сборника «После Путина» (под ред. Дм. Травина)

Неопубликовано

О. Кен

После революции – что?

I

Современное российское общество одновременно стремится определить себя в универсальных категориях и чурается их, настаивая на собственной трудноуловимой «русской правде», инвариантной тысячелетнему развитию. В своем предельном выражении национальный инвариант не может быть ни чем иным как отрицанием культурной истории в пользу первобытных черт – принадлежности индивида своему племени. Единственным подлинным субъектом истории оказывается этносоциальная общность, ведущая непрерывную борьбу с себе подобными за жизненные ресурсы. Война как смысл существования определяет приоритеты развития такой общности – культ силы и культ единства.

Феномен Путина балансирует между «универсалистской» (исторической) и «русской» (инвариантной) идентичностями, причем именно последняя рассматривается им как источник внутренней силы и широкой поддержки. Разрушение мифа об укорененности режима Путина в особых устойчивых свойствах российской жизни может произойти лишь практически, когда универсальные условия и динамика общества со всей очевидностью выступят на первый план – силой вещей и силой понимания. Этот процесс, похоже, вступает в новую важную стадию.

Осмысление общественной динамики требует некоторого отстранения от наличного, локализации российской современности на карте исторического развития, объяснения ее в общепринятых терминах. Одним из них бесспорно является понятие революции.

II

Сегодняшнее общество чуждо признанию своей связи с революцией. Революция начала XX изгоняется из общественного самопонимания по разным причинам. Одни из них носят универсальный характер – всякое общество хочет забыть о нарушении разрыва с прошлой историей, поругании святынь, гражданской войне, терроре и кровопролитиях. Другие причины коренятся в действительности самой революции – ее освободительный период продолжался всего несколько месяцев, провозглашенные Февралем институты и принципы быстро обратились в свою противоположность, трансформировались в сакрализованную и всемогущую власть над словом и делом. Естественная для всякой революции дегероизация символов и вождей 1917 года была подкреплена многолетним забвением, издевательским развенчанием и псевдогероическим замещением большевиками-ленинцами.

На глазах наших современников созданное Октябрем обратилось в прах – «общественная собственности на средства производства» и «плановое хозяйство», «руководящая и направляющая роль» двадцатимиллионной партии, «морально-политическое единство» «новой исторической общности». Между тем общественное сознание намертво сцепило понятие

революции с Октябрем. Образ революции и революционной эпохи оказался выхолощен и вытеснен государственнической трактовкой.

Неприятие революционного смысла перемен конца 80-90-х гг. отражало эту действительность. К тому же, на исходе XX века стране пришлось обратиться к задачам социального переустройства, сопоставимым с теми, которые давно, едва ли не столетия тому назад, решили народы, с которыми привыкли себя горделиво сравнивать жители России. Неудивительно поэтому, что революционные перемены не обладали символическим порывом к переназыванию старого режима, который крепко держался за свою революционную легитимацию – «социалистический выбор» 1917 г. Умеренные и радикалы чувствовали себя смелыми реформаторами, но вовсе не наследниками Милюкова или Чернова. В своем неприятии революции «Демократический выбор России» дошел до равнения на Медного всадника, изображение которого он избрал партийной эмблемой. Социалисты, более восприимчивые к дискурсу революции, заговорили о «классическом термидоре»¹.

Дружное отрицание того, что переживаемая эпоха – эпоха революции, явилось не столько ощущением своеобразия происходящих в России перемен, сколько идейной инверсией, страстью к «смене знаков». Едва ли не общепринято, что эта черта – верный признак именно революции как полного, увлеченного отрицания.

Большая часть россиян, приемля перемены, ощущало их как возвращение к естественному состоянию и воссоединению с миром. Подобная «реакционность» есть не менее очевидный признак глубокой (социальной) революции: люди соглашались на великие потрясения лишь во имя торжества «естественного права», «разума», «нормальности» над учреждениями, верованиями, запретами и отношениями, потерявшими свой прежний смысл и ставшими нелепым анахронизмом. В этом отношении чрезвычайно полезно вспомнить корневое значение *revolutio* старого социально-астрономического словаря – возвращение тела из неравновесного положения, в котором оно оказалось благодаря внешним возмущениям, на прежнюю устойчивую позицию, свойственную ему орбиту².

В согласии с очевидностью и в сознательной полемике с нею, мы вправе отнести к переживаемой Россией историческому моменту как к результату сложного взаимного сочетания двух революционных циклов – эпохе великой российской революции (1917-конец 80-х гг.) и современной революции в России (конец 80-х – конец 90-х гг.).

III

При обращении к длинному революционному циклу 1917 – конец 1980-х гг. становится очевидно, насколько само понятие великой российской революции осложнено клише. Во-первых, название «Февральская» локализует ее во временном пространстве; последующие события выскальзывают из-под ограничительной календарной дефиниции и льнут к октябрьской развязке, заставляют разыгрывать большевистский переворот в телеологической ретроспективе: «от Февраля к Октябрю» не может не означать «от Октября к Февралю». Забывается, что у революции как предельном воплощении социальной стихии не бывает «станции назначения». Во-вторых, любое последующее

¹ Е. Г. Плимак, И.К. Пантин. Драма российских реформ и революций. М.: Весь мир, 2000. С. 348.

² Подробнее о семантике этого термина: А. Магун. Опыт и понятие революции // НЛО. 2003. № 64.

определение («буржуазно-демократическая», «демократическая») закрепляет ограничительное толкование. Первая фаза социальной революции отторгается от последующего. Дробление процесса по принципу идеологических предпочтений растворяет драму революции в крошечные трагикомические сцены.

«Революция – это блок», – повторял Жорж Клемансо, которому выпало завершить эпоху 1789 года. Чтобы понять революцию необходимо вдуматься в ее единство.

Революция 1917 г. соединила в себе два классических образца – крестьянскую революцию ранней модернизации и городскую революцию индустриальной эры. Потребности крестьянской страны ориентировали на повторение 1789-го, динамика российской революции сближала ее с 1848-м. Гражданская свобода не устояла перед стремительностью экономической катастрофы – и перед социалистической доминантой общественных устремлений (красный флаг использовался Временным правительством как государственный символ, «Рабочая Марсельеза» как национальный гимн)³. Революция соскользнула в радикальную фазу Октября. Присущие большевизму эсхатология, социализация и милитаризация, доведение революции до крайности и превращение гражданской свободы в свою противоположность еще не образовывали исключения.

Действительной исторической новизной стала невиданная мощь прагматического и идеократического государства. Прагматизм обеспечивал использование всех возможностей удержания власти, идеология – последовательное использование власти для реализации утопии. Радикальная фаза революции оказалась не преходящим эпизодом, функционально необходимым для закрепления ее главных освободительных начал, но отправной точкой создания системы новых ограничений общественной эволюции.

Развитие революции приняло причудливый, обманчивый и необычайно сложный характер. В фазе термидора большевики заменили военный коммунизм нэповской «самотермидоризацией». Ответом на потребности бонапартистской консолидации государственного порядка стали сталинская диктатура и патриотический поворот середины 30-х гг. Ожидания реставрации получили управляемое воплощение в послевоенном национально-государственническом апофеозе и традиционалистской стилистике «застоя». Эти замены, ответы и воплощения были попыткой обмануть историю.

На деле Россия не знала ни термидора, ни бонапартизма, ни реставрации как стадий революции – стихийного неуправляемого процесса, как различных систем осуществления власти или типов общественных отношений, как периодов затухающего колебательного движения, завершающегося относительным примирением, взаимной реабилитацией традиционных форм и новых порядков. Предпосылкой нового общественного компромисса является признание неотчуждаемости гражданских свобод, автономии личности, частной собственности, права распоряжаться своим трудом. Октябрь напротив определил смысл нового строя как полную противоположность не только Старому порядку или капиталистической эксплуатации, но и самой стихии человеческого существования, наделенной множественными и неуправляемыми смыслами. Он мог лишь побеждать или погибнуть (отсутствие гибели приравнилось потому к

³ Б. Колоницкий. Февральская? Буржуазная? Демократическая? Революция...// Неприкосновенный запас. 2002. № 2. С. 84.

победе). В идеологической самоидентифицированности, в преемственности политических институтов, экономической политики и культурных стереотипов чудился признак небывалой всемирно-исторической силы: ведь «ничего подобного в ходе других революций не наблюдалось»⁴. Сегодня очевидно, что именно в силу этого различия у революций прошлого было историческое будущее, у Октября его быть не могло.

Его подлинные исторические завоевания состояли в технической модернизации, урбанизации, социальной мобильности и образовательном росте. Архаизм марксистского проекта, попытавшегося удержать общество от соблазнов современной цивилизации и вернуть его к первобытной простоте «золотого века», приходил в растущее противоречие с социальным прогрессом, с полуосознанной тягой к свободе и достоинству личности. Государственная модернизация не могла утолить общественной жажды – жажды естественного.

На исходе столетия страна оказалась перед задачами, с которыми она вошла в XX век – утверждение свободной рыночной экономики, политическая демократия и гарантии прав личности, национальное самоопределение и позитивное сосуществование народов. Попытка нового партийного руководства вернуть стране динамизм и самоуважение вынудила признать: системные ограничения сакрализованного строя не позволяют осуществлять эффективные реформы оставаясь в его пределах. Россия вступала в непредсказуемость быстрых фундаментальных перемен – в новую революцию.

IV

Поскольку советская эпоха — затянувшаяся радикальная фаза революции 1917 г. — явилась отрицанием ее изначального смысла, стране пришлось вновь «повторять» 1789-й и 1848-й – секуляризацию власти, отмену сословных привилегий, заново провозгласить права человека и гражданина, признание суверенитета народа и принцип разделение властей.

Конец 80-х гг. стал временем складывания классической революционной ситуации – реформаторского замешательства верхов, драматического материального оскудения, взрыва общественной инициативы. Вторая российская революция прошла через классические фазы. От своих Генеральных штатов (Съезда народных депутатов) – к судорожной попытке старого режима «навести порядок» экстраординарными мерами, окончательно разрушившими его легитимность, в августе 1991 г. (Пристальнее взглянув на три августовских дня, нетрудно заметить привычные признаки революционного кризиса: напряженная столица и молчаливая провинция; колеблющаяся армия, отсутствующий глава государства, готовность к самопожертвованию на фоне обыденной жизни большинства, случайность лидеров, уничтожение старых символов и водружение новых, поддержка западных миссий, разъезды активистов, самочинные захваты помещений и аресты, слухи, страхи, патетика – и соединение иллюзорной отчетливости чаяемого со всеобщей ошеломленностью происшедшим). На радикальном этапе от новообретенного единства быстро не остается и следа. События движутся быстрыми скачками – от формирования правительства с чрезвычайными, революционными полномочиями – к разгону законодательного собрания, незаконному конституционному плебисциту и созданию нового представительного органа при сильной исполнительной власти.

⁴ И. Дойчер. Незавершенная революция // Э. Хобсбаум. Эхо «Марсельезы». И. Дойчер. Незавершенная революция. М.: Интер – Версо, 1991. С. 162.

Как и в революциях прошлого, сужение политической базы власти, распад привычного жизненного уклада, всеобщее недовольство породили попытку постреволюционной власти преодолеть их путем конструирования объединяющих их национальных задач и возвращения к практике внешнего насилия. Кромвеллевское усмирение Ирландии три с половиной века спустя повторилось в кавказской авантюре Кремля 1994-1996 гг. Наконец, логика насилия и консолидации, вырождение политики в борьбу бюрократических кланов и связанных с ними новых собственников, общественная усталость и маргинализация демократических течений подталкивали к классическому завершению трансформации – к личной диктатуре, балансирующей между социальными силами и эксплуатирующей патерналистские инстинкты и национальные фобии усталого общества. Казалось, история разыграна старым нотам буржуазных революций доиндустриальной эпохи.

Лишь отчасти.

Поскольку советская эпоха явилась возвратом в антикапиталистическую архаику, России (как и другим «коммунистическими» странами) пришлось не только расковырять, но и создавать современную частную собственность в невиданных в истории масштабах. Сколь бы головоломной ни была такая перспектива для новой власти, какие бы разочарования, конфликты и ненависть не породила приватизация, она несла с собой гигантский ресурс общественного умиротворения, несопоставимый с тем, который открывала самочинная кровавая экспроприация земли или распродажа национальных имуществ. Десятки миллионов людей благодаря революции стали собственниками, частная инициатива получила общественное и государственное признание. Финансовый кризис и распад системы снабжения (явления в высшей степени характерные для всякой революции) привели якобинцев и большевиков к установлению твердых цен, изъятию хлеба и карточному распределению, поддерживаемых террором. В своей радикальной фазе новая российская революция нашла выход в либерализации цен на потребительские товары, либерализации внешней торговли (и гуманитарной помощи).

Поскольку советская эпоха вплотную приблизила страну к постиндустриальному миру, основные социальные установки жестко ограничивали веру в возможность одномоментного прорыва в идеальный мир либеральной демократии и всеобщего благосостояния и, соответственно, применение политического насилия против своих оппонентов. Вместо этого порожденные революцией жизненная ломка, фрустрация и ослабление власти выплеснулись в бытовое и криминальное насилие внутри страны, либо в добровольческие авантюры на периферии бывшей империи. Из советской эпохи общество вышло с горькой насмешкой над мессианскими притязаниями прежней идеологии. Оно категорически не желало гражданской войны или повторения тоталитарной утопии, коммунистического реванша. «...К началу радикальной фазы в России практически были исчерпаны надежды на быстрое и безболезненное решение проблем, по данным социологических опросов, 80% россиян к концу 1991 года ожидали почти непреодолимых материальных трудностей, перебоев в снабжении основными продуктами питания, электроэнергией, теплом, транспортом, Две трети граждан не верили в возможность преодоления кризиса без временного снижения уровня жизни людей»⁵. Неожиданные итоги апрельского референдума 1993 г. показали, что слабости российского общества, его усталость, пассивность и фрагментация парадоксальным образом служат осуществлению радикальных перемен – хотя бы тем, что в своем подавляющем

⁵ И.В. Дубровская, В.А. Мау. Великие революции: от Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2001. С. 172.

большинстве оно отказывается дать себя мобилизовать соперничающим политическим силам (в этом смысле можно оценить и итоги первых выборов в Государственную Думу 1993 г.)

Другой механизм радикальной мобилизации – конструирование образа могущественного идеологического врага революции (в лице «папизма» или «тираний») и ретрансляция нового патриотического протеста во внутреннюю радикальную мобилизацию – был еще более стеснен, фактически блокирован. В окружающем мире оно видело не столько угрозу происходящим в стране переменам, сколько надежду и пример.

С невероятной легкостью российские граждане приняли распад советской империи и частную собственность, новые символы и даже агрессивную неустроенность жизни. Общество выстрадало эти перемены и проявило незаурядную способность к самоорганизации – наряду с регулятивными усилиями государства, несмотря на его немощь, вопреки ему. В общем, если революционный процесс нуждался в экстраординарном государственном насилии, эту потребность с лихвой утолило ельцинское самоуправство.

Наконец, вторая российская революция была исторически вторичной и очень запоздалой. Она ощущала себя таковой – как в отношении к собственному прошлому, так и в сравнении с окружающим миром, развитыми и не слишком развитыми странами, с успехом устраивавшими свою жизнь на новых основаниях. Поэтому она торопилась перестать быть революцией, прощая и забывая своих негодяев, героев и плутов, всегда оставляя открытыми пути для реинтеграции прежней номенклатуры в новую повседневность.

К концу 90-х гг. новые механизмы начали работать. На долю властной элиты оставалась скромная и благородная историческая задача – роль администратора, помогающего обществу цивилизованно корректировать складывающиеся нормы и поддерживать правила игры. Парадоксальным образом эта миссия власти была признана позитивным – и достаточно эффективным – бездействием (реваншистского, как опасались) правительства Примакова-Маслюкова. На повестке дня оказывались послереволюционные задачи: общее упорядочение отношений собственности, взаимоотношений и функций исполнительной, законодательной и судебной властей, федерального и местных правительств, переопределение места и роли социального сектора – словом, все то, что связано с отысканием баланса интересов и формированием нового общественного консенсуса, осознанием новой системы ценностей.

С принципом государства как скромного менеджера соглашался и клан Ельцина, пробовавшего на роль преемника современных неамбициозных чиновников Степашина, Путина... (Другой кандидат – железнодорожный министр показался слишком самостоятельной фигурой. Многие ли вспомнят сейчас его фамилию?) Общественное мнение было не в восторге от кандидатуры патриция-академика, готового стать отцом народа. Интуитивно оно искало чего-то попроще, без претензий – старшего брата. Среди демократических политиков оно такого не нашло, да и не слишком искало – те были людьми закончившейся революции, ее участниками, демагогами, идейным фоном прошлого.

Конфликт во властных элитах породил потребность общественной мобилизации – в условиях, когда историческое дело, способное вызвать настоящую волну народной поддержки, было уже сделано. Единственным выходом становилась сплочение вокруг наскоро придуманного

национального тотема – лесного зверя, пытающегося приподнять голову и стать на колени⁶. Государство вновь обрело единство с народом, единство поводыря и медведя. Согласие власти с ролью администратора подразумевало ее ответственность перед обществом, принятие на себя бремени народного водительства заново освобождало государство от ответственности. Новая война, начатая тихой сапой и под цивилизованной этикеткой, обеспечила недостающий для государственнической мобилизации компонент – ненависть к другому и любование силой.

Общество выбрало себе «старшего брата». Он совсем не походил на персонажа Евгения Леонова и немного напоминал эпизодического героя романа Джорджа Оруэлла.

V

С осени 1999 г. российский политический процесс решительно оторвался от исторической динамики общества. Век революции в России миновал и вместе с ним миновал век диктатуры и реставрации. Для великих свершений и великого злодейства просто не находилось места.

Композиция и поведение новой верховной власти отразили это обстоятельство. Либералы-экономисты взялись за выполнение позитивной задачи государственного менеджмента. Поклонники насилия приступили к выдумыванию великих задач. Осторожное экономическое устройство соединилось с сокрушением стен почти построенного здания. Ослаблялись, переделывались и низводились до роли административных инструментов важнейшие и полезнейшие государственные институты – Совет Федерации, Государственная Дума, Прокуратура, Правительство. Пришел последний час избранных губернаторов. Понятно, что при этом не могли остаться в стороне общественные и экономические институты – телекомпании, политические партии, крупный бизнес. Органам правопорядка было поручено защитить государство, растоптав отдельно взятый регион (и некоторых индивидов за его пределами). В новой государственной парадигме, подозрительной ко всему негосударственному, гражданское общество оказывалось синонимом полувоенных формирований, народного ополчения, подчиненному главнокомандованию государства.

Беспочвенность, никчемность и анемичность действий высшей власти, как только они выходят за рамки экономико-административного менеджмента, выразилась в неустанной мимикрии. Глава государства старается нравиться всем, имитируя то антиамериканизм, антикапитализм Сукарно –отца «направляемой демократии», то свергнутого его Сухарто, прославившегося кровавым унитаризмом, сращиванием бюрократии с бизнесом, созданием безальтернативной партии, сервильной кооперацией с сильными мира сего. У Сукарно и Сухарто была своя важная историческая функция, определенная потребностями догоняющего развития. В России XXI века у президента такой роли просто не может быть – и он неустанно выдумывает, имитирует, запугивает себя и других, то подражая провинциальному мессианству Дж. Буша или аргументации Ивана IV из его переписки с князем Курбским, то воспроизводя штампы и логику сталинизма или упиваясь пошлым нищезанятием бульварной литературы... Тот список длинен. В этих заимствованиях, впрочем, нет ничего западного, ничего русского, ничего чекистского, ничего философского – каждый из этих дискурсов выхолощен, освобожден от

⁶ Последующие (2002 г.) разъяснения Ю.М. Лужкова о том, что медведь – это такое животное, которое лезет вверх, забирает мед и лакомится им, поражает своим недалеким гедонизмом, вероятно, помешавшим этому политику стать подлинным властителем государственных дум.

своего социального содержания, от выраженных в них иллюзий и идеалов. Достаточно сопоставить примитивизм заявлений Путина в сентябре 2004 г. с «новым политическим мышлением» времен перестройки, когда сквозь партийную скорлупу пробивалось гуманистическое понимание многомерного, рискованного, открытого будущего России в сообществе современной цивилизации, чтобы оценить всю глубину идеологической инверсии, утверждаемой нынешним режимом, по отношению к революции конца XX века.

Переизобретение идеологии господства стало уродливым откликом на насущные исторические потребности – верховная власть взяла на себя бремя формирования нового общественного консенсуса. С одной стороны, при отсутствии диалогичности между самостоятельными социальными субъектами выработка консенсуса под эгидой государства не может не вырождаться в фабрикации национального инварианта (инвариантного тем самым и национальной культуре). С другой стороны, беспочвенность исторических притязаний этой власти должна быть компенсирована народностью – готовностью черпать из выгребных ям российского быта, сублимацией цивилизационных отбросов в откровение эры стабильности. Отсюда и неукротимая тяга высших представителей режима к уголовному жаргону – хранителю архаической простоты мира, где господствуют насилие и иерархия, и к мужественным прибауткам (вроде президентской притчи об принципах отношений власти и прессы), отражающим казарменный опыт сексуальной жизни. Проглядывающий в этих речах комплекс мачо, мучимого неуверенностью в своих мужских достоинствах, чрезвычайно интересен в социальном отношении: он изнутри («герменевтически») показывает бессмысленность притязаний власти на творческую историческую роль.

Вертикаль власти оборачивается ее перпендикулярностью основному вектору развития России. В исторической перспективе у нынешнего режима нет того будущего, которое он себе пророчит – Лорда-Протектора Земли Русской.

VI

У него есть другое будущее – превращение в администратора общественного прогресса. Эта трансформация зависит от того, когда и как общество сможет самостоятельно артикулировать свои интересы, проявить волю и вернуть государство на его законное историческое место.

Эта перспектива выглядит беспомощным благим пожеланием, если отстраниться от универсальных общественных процессов. Исторический промежуток, образовавшийся в пятилетие Путина, впервые после 1991 года создал условия для *прогрессивного охранительного консенсуса*.

Во-первых, завершение революции лишает остроты прежние политические распри и релятивизирует противостояние ценностных ориентаций – коллективизма и солидаризма, с одной стороны, индивидуальной свободы, с другой. Одновременно гипертрофия государственного контроля лишила приверженцев этих социально-политических ориентаций – большую часть российского общества – адекватного представительства в органах власти, оттеснила традиционные партии и группы на обочину политического процесса. Связанное с этим переосмысление ведет к сближению двух традиционно противостоявших на протяжении последних ста лет флангов. Десятилетием раньше лишь немногие люди демократических взглядов осуждали антиконституционный и насильственный роспуск представительного органа

власти: революция заставляет противоборствующие силы подчинять свою идеологию логике насилия. Лишь в послереволюционное время создаются условия для экспликации и сопоставления предпосылок политических идеологий. Решающим в споре о праве наследования должно явиться то обстоятельство, что социализм и либерализм – дети Просвещения, безыдейная воля к регулированию – его бастард.

Во-вторых, повседневные интересы большинства граждан и даже преобладающие общественные настроения побуждают их ценить послереволюционную стабильность. Она становится ценностью «сама по себе». Однако стабильность (в отличие от застоя) возможна лишь при условии сохранения основ общественного и государственного строя, саморазвитии заложенных революцией начал, наконец, при адекватных им действиях власти. Подрыв этих основ, установление все новых препон негосударственной инициативе, функционирование власти в режиме публичной спецоперации несовместимы со стабильностью. В октябре 2004 г. 22% опрошенных полагают, что «стабильность есть», 67% – что ее нет. «Непонятно, что произошло сейчас, но общественное мнение так устроено: вроде бы все то же самое, но оно внезапно начинает восприниматься в другой тональности»⁷.

В-третьих, экономическая политика государства испытывает растущее воздействие силовой парадигмы. Демонополизация, конкуренция и прозрачность отодвигаются на задний план. Социально-экономическая политика приобретает отчетливо фискальный характер, парадоксальным сближающий ее с чрезвычайными финансовыми мероприятиями радикальной фазы революции. Сокращение социальных льгот, повышение оплаты жилья, реструктуризация сферы «общественного блага» – образования, науки, здравоохранения являются реакцией на насущные потребности развития. Отсутствие реальных политических противовесов исполнительной власти, объявившей себя на военном положении, обрекает проводимые и задуманные реформы на уродливое фискальное исполнение, сеющее недовольство и разрушающее общественную стабильность.

Наступление нынешнего режима на конституционный строй и дребезжание социально-экономической политики вновь – как и в августе 1991 года – ставит противников существующей власти в беспроигрышное положение защитников законности и правопорядка, стабильности, социальных гарантий и прав собственности. Истеричность и насилие, обычно ассоциируемые с беспочвенностью революционизма, становятся дескрипторами власти. Нормальность обывателя – на стороне ее противников.

Неприятие инверсии смысла и результатов революции создает возможности для практического разрешения главной задачи наследников революции – общественного согласия относительно должного, естественного и недопустимого, формирование общей для всего российского социума системы ценностей, следование которым может обеспечить развитие страны и позволит гордиться ею.

Гвоздь вбит. Рамка повешена. Осталось нарисовать картину.

⁷ Известия. 19. 10. 2004 (данные Фонда «Общественное мнение»).